

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА
**АЛЕКСАНДРА
МЕЛИХОВА**

И НЕТ ИМ ВОЗДАНИЯ

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИЛИТ

ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ

СВИДАНИЕ С КВАЗИМОДО

КРАДЕНОЕ СОЛНЦЕ

РОМАН С ПРОСТАТИТОМ

ЗАЕМЛЕНИЕ

В ДОЛИНЕ БЛАЖЕННЫХ

АЛЕКСАНДР
МЕЛИХОВ

В ДОЛИНЕ БЛАЖЕННЫХ



Москва
2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М47

Оформление серии *П. Петрова*

Ранее роман издавался под названием «Интернационал дураков». Новая — улучшенная и дополненная — версия романа выходит под новым названием.

Мелихов, Александр.

М47 В долине блаженных : [роман] / Александр Мелихов. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 576 с. — (Большая литература. Проза Александра Мелихова).

ISBN 978-5-04-092464-6

Побывав в интернатах, где подвергаются пожизненному заключению умственно отсталые люди, главный герой романа испытывает такой ужас, что решает вместе со своей возлюбленной учредить для их защиты Интернационал дураков под лозунгом «Олигофрены всех стран, соединяйтесь!». Занимаясь организацией этого Интернационала, влюбленные путешествуют по всей Европе и обнаруживают, что такой Интернационал давно существует и правит миром. Он направлен не только против гениев, но и против всех нормальных людей. Противостоять дуракам могут только люди фантазирующие, такие, как главный герой, человек, готовый преобразовывать мечту в реальность.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-092464-6

© Мелихов А., 2018
© Оформление.
ООО «Издательство «Э», 2018

В ДОЛИНЕ БЛАЖЕННЫХ

Что делает нас счастливыми и что ввергает нас в отчаяние? Слова, слова, слова. Нет ничего важнее слов. И весь секрет человеческого счастья заключается в том, чтобы всегда говорить о своих несчастьях высокими красивыми словами. Увы, в нынешней свинской культуре высокие слова запретны...

Еще недавно, принимая душ, я страшился опустить глаза на свое обливающееся слезами мужское достоинство. «Импотент» — этот плевок в чью угодно сторону заставлял окаменеть и меня; строгая пара «сексуальный невротик» уже позволяла мне осторожно покоситься по сторонам; а уж незатейливая строчка «мужчина, уставший от женщин» дарила мне некую даже расслабленную барственность. С той минуты, когда я поверил, что физическое общение с женщинами я прекратил по собственному желанию, я снова обрел силу бестрепетно смотреть им в глаза. Отчасти даже растроганно. Они и правда невероятно трогательные существа, когда перестаешь их бояться.

Я никогда не «обладал» ими, я всегда только служил. Служил их тайной грезе. Встречая женщину с неутоленной мечтой, я начинал различать некий ореол, пронизывающий их прическу, — иногда альпий, иногда аквамаринный, иногда янтарный, серебристый, бесхитростно голубенький, словно весенний небосвод, в котором не хватает только жаворонка. Я сам еще не понимал, к чему они меня призывают, но что-то во мне уже тянулось им навстречу. Моя грудная клетка

расправлялась или съезживалась, я становился то стройным, то согбенным, делался то выше, то ниже, в угоду их химере менялись даже черты лица, и никогда не было возможно угадать, в кого я обращусь на этот раз, — в просмоленного морского волка или интеллигентного хлопика в пучеглазых стрекозиных очках. Внешность женщины не имела значения — ведь мы всегда любим только собственные сказки: в красавицах открывалась глубина, в дурнушках — трогательность. Помню, в огромном библиотечном зале я часами не мог оторвать взгляд от скромной девушки, выкладывавшей книги на стойку: стыдясь своего легкого косоглазия, она старалась не поднимать глаз на тех, кого обслуживала, и я магнетизировал, магнетизировал ее, изнемогая от нежности и сострадания: забудь, забудь об этом пустяке, он делает тебя лишь еще более прелестной и трогательной, лишь еще более трогательной и таинственной. А подходя к ней, я уже и сам был трогательным недотепой, просыпал из подмышки стопку книг, кинувшись их собирать, едва не грохнулся... И, благоговейно сопроводив ее до подъезда, снова споткнулся о наглую кроссовку, протянутую с темной скамейки каким-то блатарем, и на этот раз уже окончательно растянулся и под хохот плохо различимой шпаны долго хлопал ладонями по песку, вылавливая отлетевшие очки.

Забавно, что по иронии судьбы почти в том же самом дворе я когда-то столкнулся со шпаной, пребывая в облике морского волка: мгновенно засекши протянутую ногу, я так врезал подонку каблуком по голени, что тот матерно взвыл, а я стремительно обернулся к темному хору с такой убедительностью, что он замер. «Ну, кто хочет всю жизнь на лекарства работать?» И вразвалочку зашагал прочь, покачивая увесистыми плечами, на которых синие русалки обнимали зеленые якоря. Вот так — мужчин создают женщины, а женщин мужчины. Интересно, во что мы все превратимся, когда феминизм победит в мировом масштабе?

Воплощаясь в новую грезу, я обретал и новые хвори — или, наоборот, избавлялся от прежних. Помню, одна моя возлюбленная с желтым цыплячьим пухом вокруг детской головки, любившая загадочно приближать ко мне свои го-

рестно распахнутые блекло-голубые глаза, постоянно мучилась радикулитом, и я, неизменно здоровый жеребец, вечно чем-нибудь дальневосточным растирал ее поясницу, а потом укутывал в клетчатый плед, заботливо подтыкая его со всех сторон... Зато у другой, огненной креолки, меня самого каждый раз приходилось растирать вьетнамскими пахучими мазями и укутывать в точно такой же клетчатый плед — так я и перебирался от пледа к пледу.

Я изведал почти все земные наслаждения, начиная от тех, что считаются низкими, и кончая теми, что почитаются неисчерпаемыми, — наслаждался я и супружеством, и отцовством, и творчеством, и причитающимися каждому десятью минутами славы, — но ничто не дарило мне такого счастья, как любовь. Сколько мог, я погружал в это море и своих возлюбленных, — но они всегда понимали счастье любви как упоение друг другом, а я — как упоение мирозданием. Любовь как будто открывала форточку в высокое и бессмертное, и я не собираюсь просить прощения за эти высокие слова — довольно я их стыдился! Я начинал ощущать свою причастность к грандиозной сверхшекспировской трагедии, именуемой История Человечества, — и утрачивал страх перед миром. Не страх смерти или страх боли, но страх ничтожности. Когда я переставал ощущать себя ничтожным, я бестрепетно открывал грудь сверкающему ланцету хирурга и, посвистывая, скользил по мокрому тросу над беснующейся горной речкой. Зато когда я утрачиваю дар думать о себе высокими словами — в какую раздавленную дрожашую тварь я тогда обращаюсь!.. Но — высокими и бессмертными бывают лишь бессмертные выдумки, лишь они способны воодушевить и утешить нас, и чудодейственная сила любви заключается в том, что она подключает нас к неясной, но оттого не менее реальной сверхчеловеческой сказке, незримо окутывающей наш мир, который погибнет, когда перестанет грезить.

Как это ей, любви, удастся, — не знаю, не знаю, в какую еще более высокую сказку мы ее вплели, но по ее ниточке мы каким-то чудом проникаем в иной мир, вернее, тот же самый, но предстающий нам как высокий и бессмертный.

В котором и погибнуть не обидно. Не унизительно. Не оскорбительно.

Я целые годы не уставал и не устаю поражаться: насколько же мы с нашими жалкими мужскими и женскими кучерявыми достоинствами неизмеримо мизернее того, что открывается нам нашей любовью! Как величественна и прекрасна — не она, вселенная, открывающаяся через ее узенькую форточку! Любовь действительно чудо, если, такая маленькая, она ухитряется раскрывать нам такую огромность.

Зато и охлаждение всегда начиналось с кульминации нежности — когда мы замыкались друг на друга, когда нам больше ничего становилось не нужно. И уж так мне каждый раз бывало невыносимо грустно, когда ореол, нежно сиявший сквозь любимые волосы, начинал меркнуть, когда чарующую грезу потихоньку начинали утилизировать. Нет, я всегда был готов растереть поясицу, доставить картошку или утереть слезинку, но меня ужасало, когда этого требовали именем любви. «Если ты меня любишь, почему не делаешь того-то и того-то?» Если ты водопад, почему не стираешь пододеяльник? Если ты солнце, почему не жарить омлет? Если ты симфония, почему не разгоняешь комаров?

Нет, любовь предназначена для входа в огромное и бесмертное, а не для обслуживания бранных созданий, таких крошечных и таких скоротечных.

* * *

Однажды, набравшись надменности, я отправился в аптеку за чудодейственной виагрой. Женщина в белом, к счастью, почти неразличимая сквозь блики стеклянной перегородки, сочувственно, могу поклясться, подвинула мне под арочку глянцевоый рекламный листок: «Либи́до ваше — эрекция наша!» И я понял, что никакая виагра мне не поможет. Ибо у меня нет и никогда не было ни проблеска либи́до. То есть желание избавиться от избытка разных будоражающих жидкостей, разумеется, преследовало меня не раз, не два и не тысячу; но освободиться от них проще всего было своею

собственной рукой, не вовлекая хороших знакомых — не втягиваем же мы их в свои сортирные нужды.

Даже в самые юные годы, когда я незримо клокотал от преизбытка любовных напитков, влюбляясь, я просто-напросто забывал, что существует такая нелепость, как «это дело». Что еще за бред?.. Мне хотелось лишь красиво погибнуть на глазах своей возлюбленной — но не ради нее, ради чего-то огромного и прекрасного! Когда я сделался старше и мудрее, мне хотелось уже не погибать, а жить — но по-прежнему не ради любимой, — ради чего-то неизмеримо более высокого, чем мы оба, вместе взятые. Временами меня даже начинало терзать ощущение постыдной мелкости всего, чем я занимаюсь, в сравнении с огромностью того, что мне открывается. Но гораздо чаще самые будничные дела обретали тайный высокий смысл.

Плотские соития такого смысла, правда, и тогда не обретали, мне удавалось разве что слегка прикрывать от себя их нелепость и некрасивость, мысленно обдалбываясь напыщенными клише: «ее мраморная грудь», «его бронзовое тело», «сплетаясь в страстном объятии»...

Нет-нет, я целиком за высокий стиль, но отчего же для возвышенного изображения совокуплений наша культура так и не сумела взрастить ничего, кроме пошлостей? Чужая, видно, людскую склонность подменять великие цели убогими техническими средствами, а потому старалась их, средства, и не поэтизировать, держать животных в узде. Не тут-то было — животные давно поднялись на борьбу за права человека. И почти победили, низкому почти удалось представить все высокое смешным и фальшивым.

Мой первый «любовный» опыт (кавычками я пытаюсь напомнить, что любовь на самом деле бывает одна — платоническая, тяга смертного к бессмертному). Всей компашкой, лет нам по двенадцать-тринадцать, мы с пацанами у подножия господствующей над местностью лесопилки пристроились тощими задницами на шипах все глубже и глубже уходящего в опилки невесть чьего забора, получившего с моей легкой руки имя Гребень (ящера), а перед нами, неутомимо скособочась, соседская Танька таскает воду для по-

ливания морковки. Морковка теснится на грядках, любовно сформованных из наиболее плодородных слоев перепревших опилок (весь наш поселок стоит на опилках), а вода настаивается в неиссякаемой лужице, поднимаясь все выше и выше вместе с уровнем отходов. В лужице затаились лягушки, все как одна горькие пьяницы, спившиеся на том, что постоянно допивали водку из бутылок, которые по вечерам швыряли в воду бражничающие парни, и Танька сама кажется мне кем-то вроде жизнерадостного лягушонка. На ней, как и на нас, если мне не изменяет память, только трусики и маечка. Она не сердится на наши подначки, а все таскает и таскает. А на меня что-то все находит и находит.

Наконец «что-то» побеждает — я внезапно схожу с Гребня и начинаю ей помогать. Пацаны принимаются веселиться вдвойне, но мы, словно сговорившись, не обращаем на них ни малейшего внимания, а все таскаем и таскаем своими мятыми ведрами кофейную воду, а рыжие опилки все всасывают ее и всасывают. Постепенно подавленные нашей неуязвимостью пацаны разбрелись кто куда, смутно догадываясь, что их не пустили во что-то важное, а мы, натаскавшись досыта, зачем-то забрались в тарантас, на котором Танькин отец, печальный двугорбый горбун, покорно носивший свой вытянутый подбородок на переднем, грудном горбе, колесил по необъятным пространствам нашего леспромхоза. Он был высокий горбун, выше моего папы, вот что было удивительно, — ведь столько материала было потрачено впустую!..

Так вот, мы с Танькой забрались в его тарантас и даже затянулись клеенчатым фартуком. Зачем-то. Чтобы окатиться еще больше вдвоем. Тарантасный мрак, почему-то источающий пронзительный запах отсутствовавшей в тот момент кобылы, со всех сторон светился щелями и дырками, и я окончательно ошалел, когда Танька жарко продышала мне в ухо: «Давай е...ся!» — «Ты с ума сошла!» — ошеломленно прошептал я и выбрался наружу. При свете дня я немедленно понял, что ничего этого не было и быть не могло, девочка, даже такая свойская, как Танька, не могла произнести столь ужасное слово, — к тому же ничего и не

означающее: люди не могут заниматься такой бессмысленной гадостью, какую им приписывают разные мерзкие выдумщики. И все равно сделалось как-то небывало грустно — как будто нам приоткрыли что-то хорошее-хорошее, а мы его испортили. Я долго бродил за лесопилкой, пружиня по спрессованным опилкам, и сквозь вой циркулярок безнадежно мычал разные грустные песни, слов которых по причине застарелой сифилитичности всех наших репродукторов я, на свое счастье, до конца пока еще не знал.

Однако в ближайшие дни меня поджидал новый удар. Более всего из всех моих полумычаний-полубормотаний меня трогала (наворачивались слезы, чего я тогда по угодничеству перед низким очень стыдился) простенькая песенка, в которой в конце каждого куплета повторялся грустный вопрос: веришь, не веришь? Поезд на-на-на дымок (или гудок?), в дальние скрылся края, лишь на-на-на огонек, словно улыбка твоя. Как тянулась душа к той неведомой красоте, что открывалась за неведомо чьей улыбкой, мелькнувшей, словно огонек поезда, — тем более что и поезд для меня был предметом нездешним, до нас они не добирались.

И вдруг в «Книжном» я увидел песенник! Папа пожал плечами, но все-таки вынул из хромового бумажника рубль тридцать, — какая-никакая это была, однако, духовная потребность. Не разбирая дороги, я разыскал в книге волшебную песенку — и уж так в ней оказалось все просто и ясно!.. Так просто и ясно — и так убого...

Без поэзии нет жизни, без тайны нет поэзии. Если в песне ясно, про что она, то к чему она? Если в грезе ясно, зачем она, то зачем она? Если греза служит реальности — высшее служит низшему, — она уже не греза. А пропаганда. Марксизм был гениальнейшим мошенничеством всех времен и народов: он преподнес миру сказку под маской науки — вместо огненных глаз и громовых речей пророк облачился в личину ученого зануды и тем победил.

А обтекаемый голубенький ромбик с обрезком «гра» на жестяном обороте прозрачной упаковки так и валяется в моем столе: мне уже давно ничего такого не хочется. Теперь мне даже кажется, что я чуть ли не всю жизнь занимался

этим делом из одной только жалости. Когда — гром среди ясного неба — внезапно умерла Танькина мать, я с другими соседями, обмирая, тоже проник в Танькину халупу, которая в ту пору представлялась мне внушительным щитовым сооружением (вагонка вместо горбыля!), и обомлел перед невероятной пышностью поставленного на табуретки гроба: такой бесполезности, как цветы, у нас в леспромхозе было днем с огнем не сыскать, и все-таки гроб напомнил мне ту единственную в моей жизни клумбу, которую я предыдущим летом видел перед величественными колоннами райкома, когда мне удалось упросить папу прихватить и меня в райцентр на попутном дирижабле. Вокруг клумбы сидело несколько человек, но мне бросилась в глаза только Танька. Она цепенела с совершенно круглыми от ужаса глазами, как бы наготове держа за уголок совершенно нетронутый, отглаженный носовой платок, — и я словно ошпаренный вылетел вон.

С тех пор она проходила мимо с таким раз и навсегда оцепенелым лицом, что я никак не мог решиться сказать ей что-нибудь до боли нежное и пронзительное. А вскоре она и вовсе исчезла неведомо куда вместе со своим печальным двугорбым отцом и нашим мимолетным гнездышком — тарантасом. И мы с пацанами так ни разу и не решились забраться в их заколоченный щитовой домишко.

А потом и его замело опилками.

«Веришь, не веришь? Стало в поселке темней», — безнадежно звучал у меня в ушах мой прекрасный внутренний голос. Который, конечно же, никогда не имел в виду никакую реальную Таньку, он всегда пел о какой-то мечте. И мне так и не удалось сказать моей перепуганной подружке: прости, что я тебя оттолкнул, я был неправ — давай е...ся!

* * *

Зато сколько раз я потом произносил эти слова — разумеется, другими словами, а то и вовсе без слов, — в конце концов, человек, по общему и даже по моему собственному

мнению, довольно порядочный, я сделался каким-то тривиальным донжуаном. Служителем чужих мечтаний.

А собственной грезе я служил только однажды. Да и что это была за служба — так, вздор... Впрочем, что я говорю, — греза не бывает вздором. Вздором бывают лишь попытки ее развенчать.

* * *

Греза носила имя Женя. И если слово «женственность» я до сих пор ощущаю поэтическим, то исключительно потому, что в нем все еще звучит ее имя. Из него проистекает и целительная сила корня женьшень — да что, Жене удалось облагородить даже грубое слово «жена». Когда учительница первая моя торжественно спросила: «А вы знаете, кем приходится Владимиру Ильичу Ленину Надежда Константиновна Крупская?» — я, звонкий первый ученик, немедленно оттарабанил: «Она его сестра». И я прямо вздрогнул, когда ссыльная чеченка Досхоева, уже успевшая заполучить прозвище, как вы, конечно, догадались, Доска, сипло меня поправила: «Она его жена». Хотя мои тогдашние представления о супружеских отношениях были самые поверхностные, я все-таки прекрасно понимал, что жена — это что-то из области подштанников, в Кремле таким не место. И каково же было мое ошеломление, когда в ответ на святотатство Наталья Андреевна одобрительно склонила голову: «Правильно». Только когда я увидел это слово написанным, я осознал, из каких *нежных* звуков оно состоит.

Раз в два года с началом навигации, когда разросшиеся по берегам линейчатые горы бревен с адским грохотом обрушивались в реку, папа выписывал себе отпускные плюс морозные плюс буранные плюс отдаленные и, приглядев бревнище понадежнее, оседлывал его и пускался вскачь по порогам до самого Киева, о котором я только и знал, что Киев — самый красивый город в нашем государстве, а следовательно и в мироздании, и что Москва с Ленинградом совершенно впустую ведут борьбу за первое место — уже давным-давно занятое его настоящим хозяином. Приютившим

вечного папиного друга дядю Сюню с его вечной тетей Клавой и — Женей.

Сюня, Клава, Клава, Сюня, дудел папа по возвращении вечную взрослую нудоту, но имя Жени он произносил, как-то по-особенному почтительно понижая голос, чего он никогда не делал, если даже речь заходила о начальстве — вернее, о начальстве тем более (хотя и пренебрежительно о леспромхозовских боссах от тоже не отзывался, полагая, что это отдает лакейской). И я каждый раз в каком-то смутном беспокойстве отправлялся бродить по пружинящим опилкам, зачарованно повторяя одним языком: Женя, Женя, Женя, Женя... Циркулярки заходились истерическим воем, а мой язык все выговаривал и выговаривал ее беззвучное имя. Страшно подумать, какой позор меня ожидал, если бы кто-то мог меня подслушать. Девчачий пастьух — ни одна нашлепка не пришлепывалась со сплевыванием столь презрительным. Не понимаю даже, ради чего нужно было это дело столько веков так усердно оплевывать... Чтобы сделать его хоть чуточку менее соблазнительным, так, что ли? Что ж, тогда хвала плевкам: именно они произвели на свет истинную — платоническую любовь! Ибо понадобилась греза невероятной мощи, чтобы воспарить и одолеть заплеванные пространства.

Впервые я увидел Женю, когда уже был мальчишкой, воображающим, что он уже не мальчишка. Она оказалась до оторопи конкретной. Мне грезилось что-то серебристо-воздушное с распушенными голубыми волосами, а у нее оказался чеканный орлиный профилек, как у Досхоевой, и гофрированные черные волосы, сверкающие, словно надраенные хромовые сапоги. Брови же ее в первый миг буквально обтянули меня гусиной кожей — они показались мне двумя черными гусеницами. Но, к счастью, я об этом тут же забыл.

Сквозь восторженный чад, в котором я тогда плыл, не могу теперь разглядеть ни тогдашнего дядю Сюню, ни тогдашнюю тетю Клаву, ни тогдашнего Города, каким я его впоследствии увидел сквозь булгаковскую химеру. Подручные типовые грезки у меня сыскались только для тети Клавы — «статная русская красавица» — и для сталинского

Хрещатика — «получше Москвы». Хотя в Москве в то время я еще не бывал: папа считал, что не надо протискиваться туда, где тебя не хотят видеть, нужно обживать собственный угол. А также не нужно никуда стремиться только потому, что туда стремятся все; поэтому у нас была и своя Швейцария, и своя Ривьера, и свой сибирский Париж. Насмешила меня среди имперских пышностей только вывеска «Речи напрокат», — я решил, что это для ораторов, а оказалось, речи были просто вещи. Я еще не понимал всей глубины этого сближения (слова — главные вещи), тем более что украинский язык самим провидением был предназначен для потехи; даже у нас в леспромхозе было известно, что «самопер попер до мордописца» означает «автомобиль поехал к фотографу». Увы, и дяди-Сюнино подтрунивание над украиньською мовою было не намного более изысканным — у тогдашних еврейских мудрецов считалось само собой разумеющимся, что никакой украинской грезы о том, чтобы, подобно всем народам мира, считать себя наилучшими, нет и быть не может, не могут они до такой степени заблуждаться на собственный счет, все это интриги карьеристов, желающих обзавестись собственными чинами министров и послов...

Не случайно, быть может, при всем моем обожании никаких приятных слов у меня для дяди Сюни не сыскалось. «Юморной» — нет, здесь дело было явно позаковыристей. «Добряк» — тоже не то чтобы, люди в его байках отнюдь не выглядели ангелами. Но — он умел посмеиваться там, где папа откровенно расстраивался, а я лез на стену. Поэтому перед Женей я только хорохорился, а обольстить старался именно его. Сначала, впрочем, я и перед ним попробовал поерепениться — стоя над зелеными днепровскими кручами, удивительно кучерявыми после наших стрельчатых таежных безбрежий, я преувеличенно возмущался недостаточной шириной Днепра: редкая-де птица долетит до середины его — да любой воробей, любая ворона... «При всем желании не могу сделать его шире», — со сдержанной улыбкой сказал дядя Сюня, и я озадаченно примолк. Ирония — эта в еврейских кругах отнюдь не редкая птица никогда не